# Домой

# Джон Апдайк

Сначала было путешествие через океан: ливень в Ливерпуле, и на причале две девицы (легкого поведения?), поющие «Не сиди под яблоней с другими»[[1]](#footnote-1) укрывшись с головой одним плащом; все толпились под навесами пакгаузов, а эти две девицы стояли у самого края бетонного причала и пели, казалось, для всего океанского лайнера, хотя на самом деле, очевидно, для того или для тех, кто находился ниже пассажирских палуб (подружки морячков?). А потом был Ков в золотом сиянии солнца, и молоденькая американочка из Вирджинии на борту лоцманского катера — трико в обтяжку, как у тореадора, и томик «Улисса»[[2]](#footnote-2) из серии «Современная библиотека» под мышкой напоказ. А потом день за днем идеально ровная окружность горизонта: игра в очко с обладателями стипендии Родса, теннис на палубе со стипендиатами Фулбрайта, бульон, и волны, разрезаемые форштевнем, и пенный след за кормой, похожий на дорогу цвета известняка. Роберт заранее решил, что статуя Свободы его не разочарует, что он примет этот штамп как должное, но она разочаровала его своей устрашающей внушительностью в утренней дымке залива и порывистостью, сквозившей в ее зеленом теле, словно она только сейчас спохватилась, что надо взять факел или во всяком случае поднять его повыше. Малышка на плече у Роберта извивалась в одеяльце, рядом у поручней толпились другие молодые американцы, и он почувствовал, что не может, как положено, насладиться впечатлением от классической царицы эмблем, главной торговой марки. То есть это он, готовый проявить снисходительность, сам оказался не на высоте.

А потом — Америка. Столпотворение транспорта, и особенно такси, которые скапливаются в западном конце сороковых улиц, когда приходит океанский лайнер. Его, его родина. В течение целого года вид одной такой огромной машины, которая, осклабясь, пробиралась в переулках Оксфорда, был для Роберта как призывно реющее знамя, как звук фанфар в пустыне, а здесь этих машин было столько, что образовалась пробка. Они гудели, свирепо сверкая друг перед другом в этой почти тропической жаре, теснясь целыми гроздьями, вызывающе яркие, словно райские птицы. Невообразимые, здесь они были к месту и воспринимались как должное. Англия уже представлялась далеким бледным видением. Казалось, прошло три года, а не три месяца, с тех пор как он сидел один в пустом ряду «американского» кинотеатра в Оксфорде и плакал. Джоанна только что родила. На расстоянии двухпенсовой автобусной поездки она спала на больничной койке, к ножке которой была привязана корзинка, где лежала Коринна. У всех мамаш в палате были какие-нибудь сложности. Тут подобрались ирландки и американки, незамужние или малоимущие. У одной болтливой немолодой мамаши, туберкулезницы, сцеживали молоко с помощью какого-то шумного аппарата. На соседней с Джоанной кровати молодая ирландка целый день рыдала из-за того, что ее муж-иммигрант до сих пор не нашел работу. В часы посещения он рыдал вместе с ней, уткнув рядом в простыни свою курносую физиономию. Джоанна заплакала, когда ей сказали, что здоровых женщин просят рожать дома; они жили в сыром полуподвале, где приходилось скакать с одного островка тепла на другой. Она расплакалась прямо перед всей очередью, и социальная служба прижала ее к своей широкой обтрепанной груди. Джоанне выдали талоны на порошковый апельсиновый сок. Запеленали новорожденную малышку. Он увидел только голову Коринны — розовый шарик, налитой его кровью. Все было так непривычно. На закате в палату явился священник и отслужил англиканскую службу, что повергло мамаш в слезы. Потом пришли мужья с пакетиками фруктов и сластей. Столпившись в приемной, они могли видеть своих жен, сидящих в кроватях с поднятыми изголовьями. Потом, в семь часов, стали бить часы то тут, то там по всему городу. Когда пробило восемь, Джоанна пылко поцеловала Роберта, панически крепко и сонливо нежно. Потом она спала, а он в миле от нее смотрел фильм с Дорис Дэй[[3]](#footnote-3) о мифическом городке Среднего Запада, существующем в недрах голливудских декораций. Домики были белые, веранды — просторные, лужайки — зеленые, тротуары — чисто выметенные, клены возле уличных фонарей — развесистые и тенистые. Манера говорить у Дорис Дэй была характерна для маленького городка, голос — зычный. И вдруг под шуршание оберток от шоколадок «Кит-кат», среди молоденьких легкомысленных продавщиц и британских хулиганов в зловеще черных куртках, Роберт с удивлением и радостью обнаружил, что плачет, плачет искренне и горько по утраченному дому.

А потом бесцеремонность таможни, и чемоданы, один за другим съезжающие по транспортеру, и попытки успокоить вспотевшего ребенка, непривычного к такой жаре. Охранявший врата отчизны херувим с именной биркой на груди позволил Роберту пройти и передать малышку деду с бабкой, тетушкам и прочей родне, ждавшей по ту сторону. Мать привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку, а отец, глядя мимо, пожал ему руку, потом теща с тестем повторили все за ними, и другие родственники соответствующим образом выразили свою радость. Потом все они в нетерпеливом ожидании кружили по сумрачному гулкому залу. Там, в Англии, письма матери — изящные, остроумные, подробные, веселые — были главной ниточкой, связывавшей его с домом, но теперь, когда родители предстали перед ним во плоти, его интересовал отец. Мать слегка постарела, у нее было широкое доброе лицо, раскрасневшееся от волнения и трогательное, — лицо женщины, чья страна так и не решила, что с собственными женщинами делать. В силу своего ума и воспитания мать была человеком европейского склада, и такая близкая.

А вот отец поразил Роберта как нечто новое, как возможное откровение. В Европе такой тип не встречался. На вид старый, невероятно старый — ему вытащили все оставшиеся шестнадцать зубов, пока Роберт отсутствовал, и лицо его казалось перекошенным от боли и осунувшимся, — отец тем не менее держался абсолютно прямо, как ребенок, который только что научился стоять, неловко свесив кисти рук перед собой на уровне пояса. Не желая или не будучи в состоянии сосредоточиться на своем единственном сыне и своей маленькой внучке, он осматривал зал ожидания, изучая фонтан, плакат, рекламирующий вино фирмы «Манишевич», и пуговицы на куртке цветного носильщика, словно все это могло служить ключом к обретению какого-то важного знания. Тридцать лет прослужив школьным учителем, он все еще верил в образование. Теперь он затеял разговор с носильщиком, печально жестикулируя и задавая вопросы, — вопросы, которых Роберт не мог расслышать, но по опыту знал, что они могут касаться чего угодно — тоннажа океанских судов, популярности вина от Манишевича, порядка выгрузки багажа. Любая информация на миг делала отца менее печальным. Носильщик сначала робел, озадаченный и настороженный, а потом, как это обычно бывало, польщенный, разговорился. Люди, спешившие мимо, оборачивались на странный дуэт — высокого изжелта-бледного старика в рубашке с засученными рукавами, сосредоточенно кивавшего, и разглагольствующего маленького негра. Носильщик позвал своего коллегу, чтобы тот подтвердил его слова. Оба размахивали руками и говорили все громче. Робертом овладело знакомое ощущение мучительной неловкости. Отец всегда приковывал к себе внимание. За свой высокий рост он, по случаю другого возвращения из Европы, был выбран на роль Дяди Сэма и осенью сорок пятого возглавлял в их городке местный парад Победы.

В конце концов отец воссоединился с родней и объявил: «Очень интересный человек. Говорит, все эти таблички с надписью: «Чаевых не давать» — сущая чепуха. Говорит, его профсоюз годами борется за то, чтобы их сняли». Отец сообщил это с оттенком торжества в голосе, торопливо приноравливая слова к новым вставным зубам. Роберт раздраженно хмыкнул и отвернулся. Ну вот. Еще и часа не прошло, как он на родине, а уже груб с отцом. Роберт вернулся за барьер, чтобы пройти таможню.

Потом они переправили чемоданы в багажник отцовского черного «плимута» образца сорок девятого года. Небольшая машина выглядела затрапезной и жалкой среди внушительных такси. Подошел молодой белокурый полицейский и сказал, что парковаться у тротуара запрещено, но — столь красноречива была стоическая беспомощность отца — в конце концов помог им поднять огромный старомодный чемодан, принадлежавший матери Роберта еще когда она училась в колледже, и поместить его по соседству с поломанными домкратами, спутанными веревками, дырявыми банками из-под машинного масла и размотанными рулонами баскетбольных билетов, которые возил с собой отец. Чемодан торчал из багажника. Крышку багажника привязали к бамперу обтрепанными веревками. Отец спросил полицейского, сколько такси работает на Манхэттене и правда ли, что, как он где-то прочел, водителей часто грабят и они теперь отказываются ездить в Гарлем в темное время суток. Обсуждение этого вопроса затянулось до конца прощания.

Тетка Роберта, поцеловав его и обдав запахом сигарет «Кул» и крахмального белья, отбыла на вокзал, она ехала в Стэмфорд. Двоюродный брат, ее сын, зашагал прочь под опорами Вест-Сайдского шоссе; он жил на 12-й улице Вест-Сайда и работал мультипликатором в телерекламе. Родители жены друг за дружкой проследовали к автомобильной стоянке, сели в свой красный «вольво» и отправились в далекий Бостон. Мать заняла переднее сиденье «плимута». Роберт и Джоанна с Коринной поместились сзади. Прошло несколько минут, прежде чем отец расстался с полицейским и сел за руль. «Очень интересно, — произнес он. — Этот парень говорит, девяносто девять из ста пуэрториканцев работают честно». Раздался пронзительный скрежет сцепления, и они покатили в Пенсильванию.

Роберт собирался преподавать математику первокурсникам одного приличного колледжа на Гудзоне. Работу предстояло начать в сентябре. Стоял июль. В промежутке рассчитывать приходилось только на родителей. Сначала — на его родителей. Он давно предвкушал, как проведет этот месяц — впервые целый месяц в Пенсильвании с женой; помнилось, он хотел что-то рассказать ей о родных местах, что-то объяснить. Но что именно, он забыл. Его родители жили в маленьком городке в пятидесяти милях к западу от Филадельфии, в округе, населенном в основном выходцами из Германии. Мать родилась в этих местах на ферме, чувствовала себя своей на этой земле, но чужой окружающим людям. Отец, родившийся в центре Балтимора, притерся к здешним обитателям, но землю не любил. А вот Роберт, который родился и вырос в этом городишке, где жили вразнобой с землей, считал, что любит здесь все, и, однако, сколько себя помнил, мечтал уехать. Здешняя атмосфера, люди казались слишком своими, слишком привычными; Роберт чувствовал, что задыхается. И он уехал. Это было ему необходимо. В результате — ощущение пустоты, уязвимости и собственной неприметности, словно ты прозрачный сосуд для слез, которые прольются при просмотре очередного фильма с Дорис Дэй. Возвращение домой наполняло его силой, более существенным содержимым. Но с каждым разом все меньше; он это чувствовал. И сам он, и земля менялись. Сосуд сжимался; содержимое приобретало осадок. В последнее время письма матери часто казались непонятными, заключали в себе немало тусклых ненужных сведений. И возникавшее из-за этого чувство вины было столь сильным, что Роберт мысленно торопил машину, словно спешил вернуться в сердце Америки, пока не поздно.

— Этот парень говорит, он учился на телевизионного мастера, но не смог найти работу и поэтому пошел в полицейские, — продолжал отец. — Говорит, за последние пять лет слишком много развелось этих мастеров.

— Тише, папочка, — сказала мать. — Малышка хочет спать.

Коринна была напугана гудками буксиров, потом ее передавали с рук на руки, что тоже ее утомило. Теперь она лежала в пристроенной на полу машины переносной люльке кремового цвета, купленной в Англии. При взгляде на никелированные заклепки и скобки Роберту припомнился магазин на Коули-роуд и блестящие черные ряды внушительных детских колясок, словно предназначенных для пожизненного использования; англичане и впрямь возили в коляске и давно подросших детей. Ах, милые румяные англичане; Роберт почувствовал легкое волнение, вспоминая о них с ностальгией. Неужели ему так никогда и не обрести покой?

С Коринны сняли шерстяные одежки, и малышка лежала в пеленках, розовая от жары, суча ножонками и хныча. Потом плаксивое выражение сбежало с ее личика, ладошки с растопыренными пальчиками замерли, и она уснула, убаюканная плавным покачиванием машины.

— Честное слово, — сказала мать Роберта, — я никогда не видела такого чудного ребенка. Говорю это вовсе не как свекровь.

Подобное заявление имело явный подтекст; Роберта оно резануло, ибо подразумевало, что малышка всецело творение одной Джоанны.

— Мне нравится ее пупок, — ответил он.

— Пупочек — шедевр, — согласилась мать, и Роберта это почему-то успокоило. И все-таки совершенство, заключенное в ребенке, как и всякая красота, было вещью в себе и ни к чему не вело.

Общий разговор не клеился. В болтовне на местные темы между Робертом и его родителями жена не могла участвовать на равных, зато намеки, которыми Роберт перебрасывался с Джоанной, были непонятны родителям. Эти намеки, расширявшие свой круг и значение и неподвластные никаким усилиям вежливости, казались угрозой его отношениям с родителями, насмешкой над ними. Роберт всегда, еще в бытность свою в колледже, курил *sub rosa,* за домом, чтобы не оскорблять взгляд матери. Это было все равно что заниматься любовью — простительно, хоть и неприглядно. Но теперь, когда Джоанна одну за другой нервно зажигала сигареты «Плеер», наблюдая, как бестолково и рассеянно ее свекор управляет машиной, Роберт как муж и как мужчина не мог не закурить; собственно, из двух старых грехов этот был наименьшим, а плод наибольшего только что удостоился похвалы. Когда он чиркнул спичкой, мать повернула голову и спокойно посмотрела на него. К ее чести — без тени укора. Однако под этим спокойным взглядом Роберт почувствовал неловкость при виде того, как дым поплыл вперед, окутывая голову матери, и она стала отгонять его рукой от лица. Тыльная сторона кисти у нее была усыпана веснушками, в средний палец глубоко врезалось обручальное кольцо, придавая безмятежному жесту красноречивый оттенок уязвимости и смирения.

Один—ноль в пользу матери, подумал Роберт, когда Джоанна, испугавшись, что свекор не впишется в поворот на Пуласки-Скайвей, ткнула концом сигареты в спинку сиденья, и горящий пепел упал малышке на животик. Никто этого не заметил, пока Коринна не взвыла; тогда это увидели все — крошечный огонек, светящийся возле восхитительного пупка. Джоанна подскочила и, виновато причитая, замахала руками и затопала ногами, она прижала малышку к себе, но улика осталась — пунцовая точка ожога на нежнейшей коже. Коринна не умолкала, заходясь в истошном крике, все бросились рыться по сумкам и карманам в поисках вазелина, масла, зубной пасты — хоть чем-то помазать. У матери оказался пробный флакончик туалетной воды, который ей всучили в универмаге; Джоанна смочила ею ожог, и постепенно Коринна, все реже сотрясаемая судорожными всхлипами, милосердно затихла, погрузившись вместе со своими мучениями во владения сна.

Это происшествие было так похоже на случай с монеткой, что Роберт счел необходимым о нем рассказать. На теплоходе он спустился в каюту, чтобы забрать бумажник из другого пиджака. Пиджак висел на крючке над детской кроваткой. Каюты в туристском классе на этих лайнерах, пояснил он, жутко тесные — вещи убирать некуда.

Отец кивнул, принимая информацию к сведению.

— Об удобстве пассажиров они думать не хотят, верно?

— *Не могут,* — сказал Роберт. — Так вот, в спешке, наверное, когда я доставал бумажник, из него выпала английская пенсовая монета и угодила Коринне прямо в лобик.

— Боже мой, Роберт! — воскликнула мать.

— Да, это было ужасно. Она кричала целый час. Гораздо дольше, чем сейчас из-за пепла.

— Она, наверное, уже почти привыкла к тому, что мы вечно что-нибудь на нее роняем, — сказала Джоанна.

С подчеркнутой тактичностью мать отвергла такое предположение и проявила вежливо преувеличенный интерес к английской монете, которую Роберт ей показал. Ох, какая тяжелая! И это монета *самого малого* достоинства? Ей с готовностью показали другие британские монеты. Правда, в этой истории некоторые детали были опущены: бумажник понадобился, потому что они потратили все мелкие деньги на безудержную игру в очко и на пиво. И даже от Джоанны Роберт кое-что скрыл: причиной поспешности, с которой он искал бумажник, было его стремление поскорее вернуться в волнующее общество вульгарной и недалекой, но весьма миловидной девицы из Вирджинии, которая взошла на борт в Кове. В полутьме каюты, освещенной синей лампочкой и душной от его похоти, полет зловредной монеты показался Роберту расплатой.

Итак, случившееся и рассказанное только усилило напряжение. Знакомые оштукатуренные ларьки, торгующие хот-догами; милые сердцу белые домики; уютно прохладные аптеки, изобилующие товаром, проплывая за окнами автомобиля, подспудно намекали на вину, разочарование, тщетность оправданий и потерянное время. Чтобы избавиться от этого наваждения, Роберт посмотрел на родителей. Женатый, имеющий работу, в определенном смысле образованный, сам уже ставший отцом, он все еще, словно ребенок, ждал от родителей проникновения во все маленькие тайны, которые накопились между ними; ждал от них чуда. И винил их за то, что они не могли это чудо совершить. При их безграничной власти им стоило только захотеть. Разозлившись, он стал думать о том, как проведет месяц в Бостоне с *ее* родителями.

Проехали на запад через Нью-Джерси, пересекли Денвер, как это сделал когда-то Вашингтон, и с юго-западной стороны въехали в Пенсильванию. Городки по пути, плоские деревянные в Нью-Джерси, с их неуловимым, характерным для прерий ощущением застоя и заброшенности, теперь стали на тевтонский манер чопорнее. Построенные на холмах из камня и кирпича по строго заданному плану, они были разбиты на квадраты надежными каменными оградами, которые тянулись вверх и вниз по склонам и разделяли куполообразные лужайки, увенчанные узкими кирпичными домами, чьи подвальные окна были выше верха автомобиля. Полуденное солнце палило нещадно; крышка багажника подскакивала и дребезжала — веревки ослабли. Впереди на десять — двадцать квадратных миль раскинулись места, которые Роберт уже хорошо знал. Вот в этом городке он каждую осень бывал на соревнованиях по футболу, а сюда ездил на ярмарку, где девушки танцевали под сенью шатров в одних лиловых туфельках на высоком каблуке.

У Роберта защекотало в горле. Он чихнул.

— Бедняжка Робби, — сказала мать, — он, конечно, забыл, что такое аллергия, с тех пор как последний раз был дома.

— А я и не знала, что он аллергик, — сказала Джоанна.

— Ужасный, — ответила мать. — Когда он был маленьким, это разрывало мне сердце. С его пазухами ему совсем не следует курить.

Тут все подскочили; впереди со стороны тротуара высунулась машина, и отец, не нажимая на тормоз, вильнул, чтобы ее объехать. Это был длинный зеленый автомобиль, новенький, сверкающий, и лицо водителя за стеклом, вынырнувшее мгновенно, как резиновый мяч, на волне их виража, было красным от испуга. Роберт видел все это смутно. Глаза у него слезились. Отец продолжал путь, и они проехали полмили, прежде чем стало ясно, что это им адресован нарастающий звук автомобильного гудка. На полном ходу их преследовала зеленая машина; она ехала в нескольких ярдах от их бампера, и водитель жал на клаксон. Роберт повернулся и через заднее стекло прочитал между тройными фарами, глядящими из-под насупленных металлических бровей, вытянутые буквы «ОЛДСМОБИЛЬ», выбитые на решетке. Машина выскочила на соседнюю полосу и, поравнявшись с ними, снизила скорость; она была преувеличенно обтекаемой формы и благодаря скошенному ветровому стеклу имела такой вид, словно у нее уносит шляпу. Маленький красный водитель что-то вопил через боковое окно. Его немолодая жена, словно не в первый раз подыгрывая ему в этом спектакле, с видом опытного гонщика отклонялась в сторону, чтобы его крики могли беспрепятственно достигать цели, но в шуме ветра и колес слов было не разобрать.

Отец повернулся к матери, страдальчески морщась:

— Что он говорит, Джулия? Я не слышу, что он говорит.

Он все еще иногда смотрел на жену как на переводчика при общении с местными, хотя и прожил здесь тридцать лет.

— Он говорит, что он хам, — ответила мать.

Роберт, у которого перед глазами все плыло от нарастающего желания чихнуть, надавил на выступ в полу, подгоняя машину, чтобы оторваться от противника. Но отец сбавил скорость и, затормозив, остановился.

В «олде» этого не ожидали и проскочили мимо, покрыв приличное расстояние, прежде чем также встать на обочине. Дело было за городом; прекрасный вид открывался на аккуратные поля в мареве цветочной пыльцы на склонах раскаленных холмов по обе стороны шоссе. Машина впереди выплюнула своего водителя. Приземистый толстяк тяжело затрусил к ним по гравию обочины. На нем была цветастая гавайская рубашка, рот распахнулся в крике. Раскаленный мотор старого «плимута», неспособный работать вхолостую после четырех часов непрерывной езды, зачихал и заглох. Голова толстяка склонилась к их боковому окну — квадратный череп, желваки над маленькими белыми ушами, складчатая кожа, блестящая от ярости, похожая на скользкую поверхность какого-нибудь мясного деликатеса, например колбасы. Запыхавшийся человечек еще ничего не сказал, а Роберт уже признал в нем превосходный экземпляр той породы, которую внешний мир по невежеству ласково именует «пенсильванским немцем». А потом в первом же каскаде яростного визга резкие согласные и лающиие гласные в его выговоре показались зримо отчетливыми, как буквы, отпечатанные на смятых картонных упаковках, низвергаемых водопадом. Когда громкость и скорость выкриков снизилась, появилась возможность разобрать вереницу грязных ругательств. Стали понятны отдельные предложения.

— Ах ты, шорт! Совсем без мозгофф?

Отец ничего не ответил, и это еще больше взбесило краснолицего коротышку: его кожа блестела так, словно вот-вот лопнет, он просунул голову в окно их машины и зажмурился, веки у него налились кровью, крылья носа побелели от напряжения. Голос у незнакомца сорвался, словно испугавшись самого себя; человечек повернулся и отступил на шаг. Его движения в сверкающем воздухе, казалось, давались ему с большим трудом. Отец Роберта мягко сказал:

— Я пытаюсь понять вас, мистер, но не могу. Не пойму, о чем вы толкуете.

Этим он только подлил масла в огонь, вызвав у толстяка еще более яростный, хотя и менее затяжной приступ бешенства. Мать отогнала дым от лица, нарушив длительное оцепенение. Малышка захныкала, и Джоанна сдвинулась к краю сиденья, стараясь закрыть от нее источник беспокойства. Возможно, эти действия женщин пробудили в немце чувство вины; в качестве неотразимого аргумента он выпустил еще одну очередь заборной брани, его белые руки судорожно заплясали по цветам на рубашке, и толстяк, словно дервиш, закружился на месте. Отец печально созерцал это кружение, лицо его все больше желтело, словно от зубной боли. В профиль было видно, что губы его сосредоточенно сжаты, прикрывая неудобные зубы, а взгляд сияет чистейшим бриллиантом пристального внимания. Заинтересованное внимание отца озадачило немца. Неистовая грязная брань, которая в странной акустике раскаленного воздуха, казалось, эхом отдавалась от опрокинутой лазурной чаши неба, замерла со скрипучим звуком трения.

Коринна заревела, словно от ожога. Джоанна наклонилась к открытому окну и крикнула:

— Вы разбудили ребенка!

У Роберта затекли ноги, и, отчасти чтобы размяться, отчасти чтобы продемонстрировать свое негодование, он открыл дверцу и вышел из машины. Он почувствовал себя стройным и высоким в своем черном английском костюме, изящным, словно меч в ножнах. Противник нерешительно наморщил вспотевший лоб.

— А ка-акова рожна ты па-алез? — осведомился Роберт, вспоминая грубоватый выговор родных мест. Его голос, хриплый от приступа сенной лихорадки и от немыслимой жары, казался чужим, хоть и знакомым.

Отец открыл дверцу и тоже вышел из машины. Обнаружив перед собой фигуру еще более внушительного роста, немец сплюнул на асфальт, стараясь не попасть кому-нибудь на ботинки. По-прежнему преодолевая невидимое сопротивление воздуха, он неуклюже повернулся и с достоинством направился к своей машине.

— Нет, постойте, мистер, — крикнул отец и устремился за ним.

Красное лицо, утратив гневное выражение, мелькнуло над мокрым от пота плечом гавайской рубашки. Немец перешел на рысь. Отец Роберта, расстроенный тем, что разговор не клеится, устремился следом; ширя шаг, он отрывал свое тело от земли с устрашающей размеренностью. В мерцании дороги тень отца, казалось, взлетала у него из-под ног. Голос его без напряжения дрейфовал вдоль ослепительно сияющего шоссе.

— Постойте, мистер. Я хотел у вас спросить.

Перспектива скрадывала расстояние между ними, немец перебирал ножками, как насекомое, пришпиленное булавкой, но это был оптический обман; его не догнали. Он достиг дверцы своего «олдсмобиля», прикинул, успеет ли изрыгнуть еще одно ругательство, изрыгнул его и скрылся в блестящей зеленой раковине. Отец поравнялся с бампером, когда машина уже тронулась. Напряженные складки на спине его рубашки свидетельствовали о готовности броситься на ускользающий металл. Потом складки разгладились, отец расправил плечи.

Прямой, как жердь, от огорчения, он, болтая руками, зашагал назад по обочине дороги, будто пятнадцать лет назад, когда в гетрах и картонном цилиндре возглавлял шествие на параде.

Джоанна в машине баюкала малышку и смеялась. Она никогда раньше не видела, чтобы свекор одержал победу.

— Это было великолепно, — сказала она.

С трудом согнувшись, отец влез в машину и сел за руль. Машина тронулась, и он, повернув свою большую голову, печально ответил:

— Нет. Человек пытался мне что-то объяснить, и мне хотелось его понять. Если я в чем-то ошибся, я должен знать, в чем именно. Но этот болван так и не сказал ничего дельного. Как всегда в этих краях. Не поймешь здешних людей. Вот Джулия их понимает, она тут своя.

— Наверное, он принял нас за цыган, — сказала мать. — Из-за нашего старого чемодана в багажнике. Крышка багажника была поднята, и он не разглядел нашего пенсильванского номера. Тут не очень-то жалуют представителей «низших рас». И папин цвет лица ввел его в заблуждение. Но потом бедняга услыхал, как мы разговариваем, и успокоился.

— Он взбесился из-за пустяка, — сказала Джоанна.

Мать оживилась, голос ее зазвенел.

— Тут всегда так, Джоанна. Люди бесятся постоянно. Бог дал им эти прекрасные долины, а они бесятся. Не знаю отчего. По-моему, в их рационе слишком много крахмала.

Собственные воззрения на здоровое питание были столь дороги ее сердцу, что сказанное косвенно утверждало за Джоанной статус дочери.

Роберт обратился к отцу:

— Папа, я думаю, ценной информацией он не располагал.

Роберт заговорил, отчасти чтобы снова услышать свой прежний голос, отчасти чтобы перехватить пальму первенства у новоявленной сестренки, а отчасти в тщетной надежде погреться в лучах славы, которую иногда стяжал отец в своих трудных поисках истины; но прежде всего он заговорил, чтобы показать жене, как привычны для него подобные сцены, как часто подобные катастрофические триумфы вторгались дома в его жизнь — настолько, что они ему даже приелись. Это было не совсем так: Роберт чувствовал сильное волнение и волновался все больше по мере того, как родная земля все шире раскрывала перед ним свои объятия.

1. *«Не сиди под яблоней с другими...»* — популярная песня на музыку Глена Миллера времен Второй мировой войны. [↑](#footnote-ref-1)
2. *«Улисс»* (1922) — роман знаменитого ирландского писателя Джеймса Джойса (1882—1941). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Дэй Дорис* (р. 1924) — американская киноактриса. [↑](#footnote-ref-3)